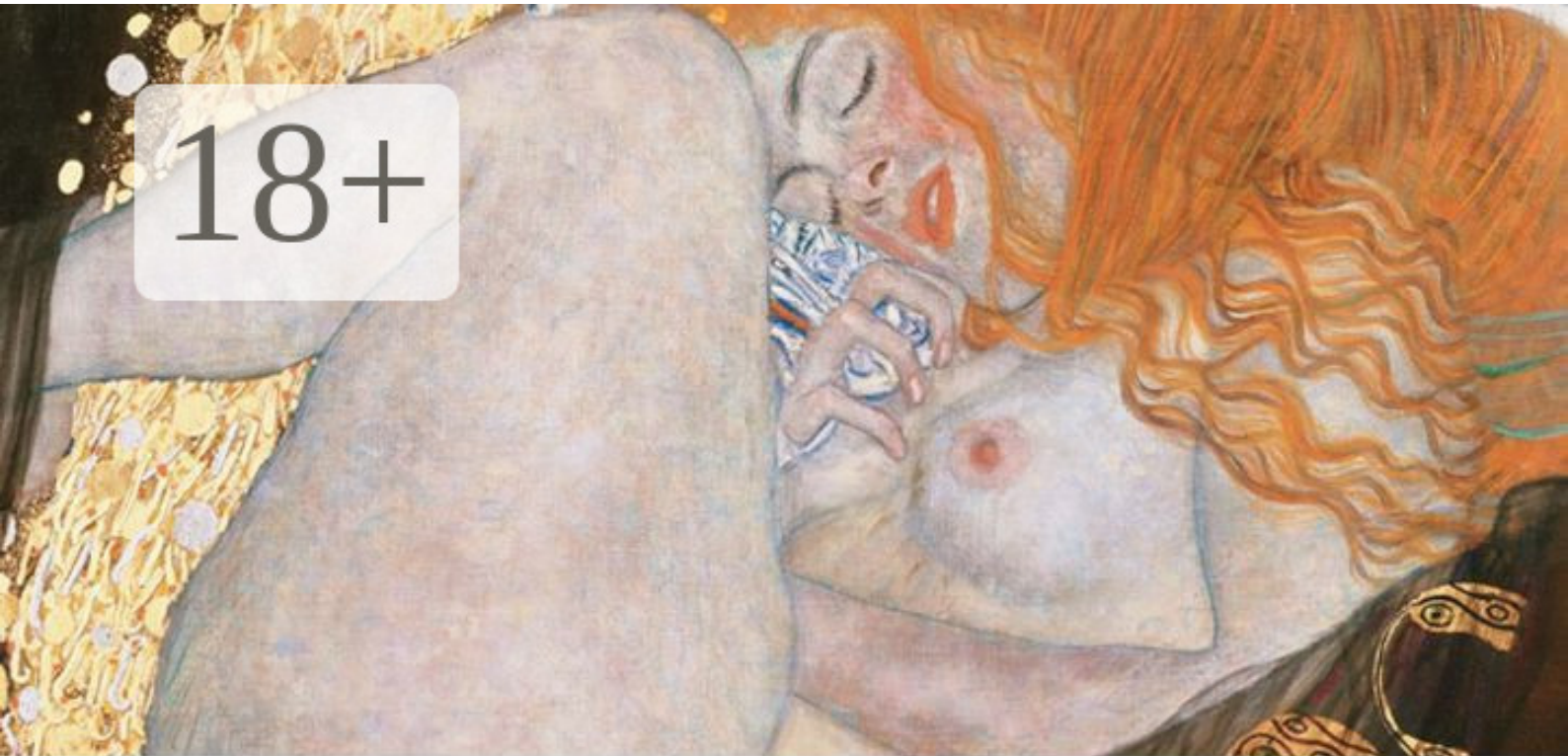


18+



Борис БЕРЛИН

ПЛАСЕНТА PREVIA



ЛИТЕРАТУРНОЕ БЮРО
НАТАЛЬИ РУБАНОВОЙ

Борис Берлин

Placenta previa. Повесть и рассказы

«Издательские решения»

Берлин Б.

Placenta previa. Повесть и рассказы / Б. Берлин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-531329-4

Повесть «Placenta previa» — история отца и дочери. Начало ее в Петербурге, продолжение на отдаленном острове, где странно все: обстоятельства, жители и сам остров — замкнутый мир, из которого нет выхода. Героям предстоит понять не только нужен ли он вообще, но и кто они друг другу на самом деле. «Сказки для Сонечки» — это антология обреченных друг на друга: двоих, у которых иногда получается, а иногда нет, но красок в их жизни гораздо больше, а значит и счастья, за которое всегда надо платить.

ISBN 978-5-00-531329-4

© Берлин Б.
© Издательские решения

Содержание

Placenta previa	6
Часть первая.	6
Часть вторая.	25
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Placenta previa

Повесть и рассказы

Борис Берлин

Литературное бюро Натальи Рубановой

Редактор проекта Наталья Рубанова

Корректор Инна Тимохина

На обложке картина Густава Климта «Даная»

© Борис Берлин, 2021

ISBN 978-5-0053-1329-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Placenta previa

*...знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч;
о, если бы ты был холоден, или горяч!*

#

Откровение св. Иоанна Богослова (15, гл. 3)

Часть первая.

Больше всего на свете

СОЛНЦЕ НА ДВОИХ

Она вдруг решила постричься. Коротко, когда-то это называлось «под мальчика». Неужели для этого нужно было ехать в Париж?

– И для этого тоже, – голос в телефоне засмеялся и брызнул счастьем. – Вот фото, лови!

Ее, ставшие огромными, черные глаза, гладкий белый лоб, а еще угловатые плечи, выступающие ключицы и острые коленки – почти дитя. Не хватает лишь гривы темно-каштановых волос – и что же мне теперь с этим делать?

Хоть плачь.

– Сержу нравится, он говорит, что это стильно.

Почему-то, когда речь о нем, голос ее неувовимо меняется, чуть-чуть леденеет. И я это слышу.

Они с Зайцем знакомы уже полгода. Ему почти двадцать девять, и по мне он надежен, как скала, иначе сидела бы она сейчас дома в полной неприкосновенности – отец я или не отец?

Не отец.

Но про это никому.

Заяц – это Майя. Потому что моя.

Вот альбом ее фотографий, с самого детства. Я смотрю на них и... ну вот как земля, когда из нее дерево – с корнем. И на всех, слышите, на всех, она светится от счастья, а еще то, что не дает уснуть по ночам, – уверенность, что смотрит она на меня. Пусть в сторону, а все равно на меня – всегда. Ведь иначе и жить-то мне зачем? Вам же остается только одно: прочитать и забыть. И все, что я еще напишу, тоже.

Забудьте. Потому что это наше, только наше с ней солнце.

Одно на двоих.

Детство – самая короткая пора жизни, но и самая счастливая тоже, потому что она, жизнь, хоть уже и началась, но еще нет ничего, кроме любви к своему чаду, своему собственному чуду, постоянной, острой нужды друг в друге и упрямой надежды, что уж ему-то жизнь обязательно улыбнется.

Мы остались вдвоем, когда ей только-только исполнилось шесть. Произошло все как-то неожиданно, а может быть, слишком поздно спохватились и врачи, и мы. Марина, так звали мою жену, угасала очень быстро, но все-таки успела, все-таки успела признаться мне, что наша Майка на самом деле вовсе не моя дочь. Сказала, что не может уйти просто так. И я даже не успел спросить – чья?

Я простил ее, не сразу, со временем, но простил. Наверное, потому, что любил. А главное, со мной оставалось мое чудо, моя маленькая Зая, моя-не-моя-дочь, и о ней надо было по-прежнему заботиться, растить ее, любить. Оставаться ей отцом.

Парижская зима и не зима вовсе – праздник. Солнце, платаны, невозмутимо шагающие вдоль набережной, небо – самое прозрачное небо на свете. И над всем волшебное лицо ее, глаза бездонные и эта странная прическа. Черт его знает почему, но она мне нравится и такой, хотя, конечно, полное безобразие, да и холодно ведь ей на ветру – декабрь, как ни крути. А взгляд у нее, нет, не грустный, а словно дымкой подернулся, словно она этой дымкой от всего мира, даже от меня, отгородиться хочет.

– Оно и понятно, – бормочу я сам себе. – Влюблена она, вот и все. Первый раз у нее это серьезно, я-то знаю.

– Папа, я почти ничего не слышу. Что ты сказал?

– Ничего, это я так. Я фото разглядываю.

– Ну и как? Как я тебе? А Париж?

– Ты у меня лучше всякого Парижа. Не холодно там тебе? Смотри не простудись.

– Что ты, тут тепло. Представляешь, скоро Новый год, а снегом и не пахнет, не то что у нас.

– Все я представляю. Ты, главное, себя береги, не заболей перед самым праздником.

– Папа, да ты не волнуйся, этого просто не может быть, у нас слишком грандиозные планы.

– Ну да, в твоем возрасте других не бывает.

– А где ты будешь на Новый год? Это ведь впервые когда мы не вместе встречаем...

– Пока не знаю. В этот раз вроде бы Наташина очередь гостей принимать. Мне, правда, как-то не очень хочется. В общем, что-нибудь придумаю.

– Слушай, а если с нами по скайпу, а? Давай я позвоню тебе без пяти двенадцать?

– Так ведь без пяти двенадцать в Париже и здесь...

– Ой, вот я балда! Ну ладно, еще целых четыре дня, придумаем что-нибудь. Созвонимся, да?

– Обязательно. Береги себя. Сереге твоему привет.

– Хорошо, пап, спасибо. Ты у меня самый-самый лучший, вот самый-самый!

– Я не самый-самый, а единственный. Я у тебя, а ты у меня. В этом-то все и дело. Ну, целую. Пока.

Санкт-Петербург большой город, большой и красивый – живи и радуйся. Так оно более-менее и происходило: Майя пошла в первый класс, я ушел в частный бизнес и вполне себе неплохо зарабатывал. Наверное, все бы так и продолжалось, если бы, как сейчас принято говорить, меня не подставили.

Нет, я, конечно, повоевал – до того момента, когда стало очевидно, что угрожает все это не только мне, но и ей тоже. Дальше все покатило само собой – и быстро: продажа всего, что еще оставалось, включая квартиру, и отъезд за границу, то есть в никуда. Можете называть это бегством – выбора у меня не было, приходилось спасать мое собственное счастье, за которое я был в ответе.

Накануне отъезда, в пустой и уже не нашей квартире, где не осталось ничего, кроме эха и темнеющих в углу баулов и чемоданов, мы провели нашу последнюю ночь на брошенном прямо на пол старом матрасе, даже не раздеваясь. Прошлого уже не было, а будущее еще не наступило. Мир сжался до тусклого пятна на потолке от уличного фонаря и ее сонного голоса.

– Папа, а мы надолго уезжаем?

- Надолго. Я думаю, навсегда.
 - А навсегда – это сколько?
 - Это... пока сердце бьется.
 - А почему?
 - Почему бьется?
 - Нет, почему уезжаем?
 - Как тебе объяснить... Ну вот, например, у тебя есть любимая игрушка?
 - Да, которую мне Дед Мороз подарил на Новый год.
 - Вот-вот, заяц твой. Ты же его любишь, а значит, хочешь, чтобы ему было хорошо, чтобы завтра ему было лучше, чем сегодня, правда?
 - Да.
 - А я люблю тебя гораздо больше, чем ты своего зайца, гораздо-гораздо больше.
- И поэтому увожу тебя в Завтра.
- А в этом Завтра где мы будем жить?
 - Вот приедем, там и решим. Я тебе уже объяснял, помнишь?
 - Помню, только мне все равно про это думается.
 - А ты думай о том, что уже давно пора спать. Завтра у нас с тобой очень трудный день. Утром мы еще здесь, а вечером будем уже совсем в другом месте, даже в другом мире. В Завтра.
 - А мама?
 - Что мама?
 - Мы ее здесь оставим?
 - Ну что ты, конечно, нет. Она полетит вместе с нами.
 - Так ведь она не знает куда. Мы и сами еще не знаем.
 - Мы нет, а она – да. Она там, наверху, знает гораздо больше нашего, и куда мы летим, и что с нами будет.
 - Даже больше, чем ты?
 - Как тебе сказать... Кое-что, самое главное, я знаю тоже.
 - А самое главное – это что?
 - А ты спать собираешься? Вот это и есть самое главное.
 - Ну ответь, и я сразу засну.
 - Обещаешь?
 - Обещаю.
 - Мы будем искать наш дом и обязательно найдем. Это и есть самое главное.
 - И какой он будет? Такой, как этот?
 - Нет, намного лучше. Нам же в нем долго жить предстоит, очень-очень долго.
 - Расскажи про него.
 - Он будет просторным, с верандой и плоской крышей, чтобы на ней можно было загорать, или чай пить, или принимать гостей. Вокруг трава и деревья, и совсем недалеко до берега.
 - До берега? Там что, есть речка?
 - Может, и речка. Слушай, а давай, чтобы море? Или, еще лучше, океан.
 - А чем он лучше?
 - Во-первых, он больше, а во-вторых, океан – это самое-самое. Океан – это океан, понимаешь? На него можно глядеть сколько угодно, и кажется, что больше ничего нет на свете.
 - Получается, как на острове?
 - Ты моя умница! На острове, да. А теперь спи.

Во всяком случае, мне это казалось тогда несбыточным, но ведь если очень-очень захотеть, то почему бы и нет? И знаете, с тех пор мое мнение совсем не изменилось, ведь мы на самом деле стали островитянами, без шуток. Остров наш маленький, не на всякой карте

виден – каким ветром нас сюда занесло, отдельная история. Может, когда-нибудь я и расскажу ее, вот только приду в себя от неудержимо стремительного Майкиного взросления, смирюсь, что она уже никогда не моя – и расскажу. Про то, что эмиграция может быть просто путешествием, что любовь вовсе не быт и не секс, а непроходящий голод, что разлука – никогда не навсегда. Потом расскажу, не сейчас. Сейчас только про Зайца и Париж.

И, само собой, про остров.

ДЮК

Вот ведь, как только начинаю про Заю мою, про мое неродное дитя, выходит обязательно захлеб и наперегонки с самим собой, и именно поэтому очень похоже на нее. Нет, не внешне – если бы так. Она у меня... ну вот застынет вдруг и начинает рассуждать о письменности у муравьев. Или прочтет что-нибудь этакое и тут же ко мне: «Послушай, как здорово: вечность – это просто у времени за углом». И улыбка, и сразу, откуда ни возьмись, солнце – а за окном дождь, ненастье, слякоть...

Я смотрю на нее и перестаю понимать себя, а может, наоборот, только начинаю. Что такое я? Что такое она? Что такое мы с ней вместе? Есть внутри нас мысли и желания, которых лучше и не осознавать вовсе, потому что стоит им выйти наружу, и, словно джинна из бутылки, обратно не загонишь. Когда они от ненависти – страшно. Не дай бог, угнездится в тебе такое и, пока не заберет тебя целиком, не прикончит, не остановится.

А когда – от любви?

Остров – это всегда океан и небо. Иногда, как сегодня, хмарь до самого горизонта, которого нет. Виден лишь берег и силуэты скал метрах в трехстах от него. Снегопад почти кончился, впрочем, и небу, и океану это все равно.

Сзади меня окликают, и я точно знаю, что это Дюк. В такую погоду и в это время здесь можно встретить только его.

– Привет, Питер!

Я уже давно привык к своему новому-старому имени, кроме того, оно напоминает мне мой родной город.

– Привет, Дюк! Как дела?

– Маяк горит, и слава богу, – он попыхивает трубкой. – Остальное ты знаешь лучше меня.

Вновь он закурил недавно, после того, как ушла Агнешка. Это я так говорю, потому что кто знает, что там на самом деле? Да и не люблю я этого слова: «умерла». Не люблю, и все. К тому же ведь никто не видел ее мертвой.

Мы молчим, пока в наше молчание не врываются криками чайки.

– Как дочка? – спрашивает Дюк. – Что-то давно я ее не видел. Все в порядке?

– Она сейчас в Париже. У нее каникулы.

– Ну да, она же у тебя вроде на врача учится, верно?

– На медсестру она учится, хочет с самого начала, снизу. Пусть. В любом случае ей решать, большая уже.

– Правильно, вот и мир пусть посмотрит, пора.

– Угу, потому и отпустил.

– А что, мог бы не отпустить? Послушалась бы тебя, если что?

– Думаю, да. Послушалась бы.

– Ну, значит, правильно воспитал ее. Тем более ты ее сам растил, один, так и не нашел себе ни жену, ни даже просто женщину, никого не нашел.

– Она моя женщина – главная и единственная. А больше и не надо.

Последнюю фразу я не произношу, а может, ее просто уносит ветром.

Вот уже полтора года, как я вижу ее, мою главную женщину, от силы раз в неделю, а то и реже. Потому что на нашем острове все по-настоящему, есть даже столица – небольшой, нарядный город с мэрией, больницей и даже аэропортом, где каждый год устраивают авиашоу, на которое съезжается и слетается довольно много народа. И конечно, университет, ведь именно там проходит сейчас большая и главная часть жизни моей дочери. Только одного не хватает ей – берега рядом.

Она всегда мне рассказывала, ну... почти все. Понятно, у девушки в ее возрасте не может не быть секретов. И все же я знал достаточно, чтобы о ней не беспокоиться, ну, а если уж беспокоиться приходилось, то, по крайней мере, всегда было известно о чем.

Когда появился он... в общем, мне стоило только раз увидеть их вместе. Язык тела может рассказать многое, а уж язык ее тела я понимал, как никто другой. Они просто смотрели друг на друга, а я... Сам не знаю, как я отпустил ее от себя. Да, я ждал, вернее, ожидал этого, я даже был готов, она не могла и не должна была оставаться со мной без конца. Или все-таки могла?

Кончается все и всегда, и детство тоже. И тогда что же это на самом деле – конец, начало? Может, судьба?

Дюк всегда, сколько я его знаю, был вполне немногословен, да и с кем разговаривать смотрителю маяка – с чайками? Вот и сейчас мы с ним просто молчим. И молчим об одном и том же.

– Послушай, Питер...

– Ничего, Дюк. Пока ничего. Я бы сказал.

– Знаю. Я тут подумал... А если Интерпол?

– Интерпол ищет преступников, а Агнешка твоя разве преступница? Скорее уж... – я не сказал «жертва», но он, конечно, понял.

Я видел их свадебные фотографии – давно, еще и года не прошло, как мы с Зайцем оказались здесь, на острове. Он сам мне их показал – молодые, счастливые, беззаботные лица. Даже Дюк с его более чем сдержанным островным характером. Я не видел его таким никогда после. Хотя, может быть, с Наташей...

То, что началось между ними, скрыть было попросту невозможно, по крайней мере здесь, в таком тесном мирке, как наш. И не захочешь, а все равно... Вот и Агнешка – не хотела, не хотела, а потом просто исчезла, видимо, не хотеть уже не осталось сил. Примириться, очевидно, тоже. Зато остались все ее вещи, даже белье, даже косметика. И ее сотовый телефон, посередине их аккуратно застеленной супружеской постели, он прямо бросался в глаза – случайно ли?

Основная и самая вероятная версия в таких случаях: муж и его любовница избавились от той, которая им мешала. То есть Дюк и Наташа от Агнешки. Скорее всего, так было бы и на этот раз, но в тот вечер, когда она исчезла, у обоих было алиби. Наташа играла с подругами в бридж, а Дюк оказался как раз тогда у меня дома, мы с ним играли в шахматы, пили пиво, смотрели хоккей.

– Я тут недавно беседовал кое с кем по службе, парень довольно долго занимался судебной психиатрией. Рассказал ему в двух словах, без подробностей.

Дюк смотрит на меня с прищуром – может, от ветра?

– Агнешка нормальная, нормальной нас с тобой.

– Дело не в этом.

– А в чем?

– Во-первых, в том, что ты говоришь о ней в настоящем времени, и это правильно, а во-вторых, в диссоциативной фуге. Слышал о ней?

– Сейчас от тебя.

– Это такой особый вид амнезии, иногда как следствие непереносимых личных обстоятельств. Забывается все, что касается личности: имя, возраст, семья, прошлое. Человек выходит из дома и пропадает – дома-то нет. Ничего нет. Своего рода бегство от реальности. В остальном он остается вполне нормальным и способен вести обычный образ жизни. Длиться это может до полугода, иногда даже дольше.

– А потом?

– В какой-то момент происходит возвращение к реальности, к себе. Вот так, Дюк.

– Ну что же, я подожду. Вот так, Питер. Но это не значит, что перестану ее искать. А обстоятельства, они у нас у всех были непереносимые. Да не были, остались: ведь никому из нас не стало ни легче, ни проще – ни Агнешке, – он вздохнул, – ни мне, ни Наташе. Наташа, она ведь птица – ей летать, а тут никто вроде и не виноват, и все кувырком...

Фразы длиннее я от него не слышал никогда.

Из-за дюн движется к нам тонкая фигурка с копной летящих черных волос. Так легко, будто ее несет ветер.

Недаром говорят, помянешь дьявола, и вот он тут как тут.

НАТАША

Фамилия Дюваль досталась ей в наследство от мужа, как и дом, прилепившийся к скалам и сросшийся с ними настолько, что кажется просто еще одним утесом, таким же серым, как ее глаза, и слегка замшелым от прильнувшего к стенам плюща. Сам Дюваль, вернее, его портрет, висит теперь в гостиной напротив окна во всю стену и глядит на океан круглые сутки – ни шторм, ни занавесей, ни жалюзи в доме нет. Наташа их просто не признает – даже в спальне.

– Мы с океаном давние любовники, – усмехается она в ответ на недоуменные вопросы. – Нам ли стесняться друг друга?

Ветер треплет ее волосы всегда, даже когда его нет, хотя таких дней в наших краях наперечет. Ей сорок вот уже лет восемь, по крайней мере, насколько я помню, но время от времени я ловлю себя на мысли, что они с Зайцем ровесницы. В ней польская кровь, и заносчива она бывает как настоящая полька. В таких случаях я делаю серьезное лицо и обращаюсь к ней: «вельможная пани». И она смеется.

Любовников у нее не было никогда. И Дюк тоже вовсе не любовник – он любовь, любовь всей ее жизни, пусть даже вы думаете, пусть вы абсолютно точно знаете, что так не бывает, но с этим уже давно смирились все – и покойный муж, и окружающие, и даже сам Дюк. Я, честно говоря, думал, что и Агнешка тоже.

Ветер в нашу сторону, и Дюк узнает ее сразу – по звуку шагов ли, по запаху – не знаю, – и еще до того, как она появляется у него из-за спины, каменеет лицом, но не оборачивается. Глаза у него делаются, как у больной собаки.

Не вынимая рук из карманов, Наташа встает на цыпочки, на долю секунды прижимается щекой к моей щеке:

– Привет! – и тут же поворачивается к Дюку. – Как ты? – ее рука ложится ему на грудь. – Как ты? – она поправляет ему шарф. – По-прежнему ничего?

Он качает головой и все-таки поднимает на нее глаза.

И хотя оба не произносят ни слова, я слышу:

– Прости, ты же знаешь, я ничего не могу с этим поделать.

– Да. Если кто-то и виноват, то я.

– Никто не виноват, милый. Никто, и ты тоже.
– Так не бывает, так не может быть... Я не знаю.
– Бывает все, это просто жизнь, а она такая, какая есть.
– Значит, мы никогда не будем вместе, она все равно окажется сильнее.
– Мы уже вместе. Просто ты никак не можешь с этим смириться. Все еще не можешь.
– Может быть. А может, не хочу. Хотя какая разница?
– Нет, я знаю. Я знаю про нас все, даже то, что еще не наступило.
– Тогда расскажи, помоги мне.
– Не сейчас, еще рано.
– Почему?
– Будущая боль заслонит нынешнюю, а так не может быть. Так просто не должно быть, понимаешь?

Сколько раз эти слова так и не были сказаны? Или были? И если да, то, может, они не только про Дюка с Наташей, или даже совсем-совсем не про них?
Неужели я все это выдумал?

– Ну ладно, – и, чуть помолчав, Наташа обращается ко мне: – На Новый год обязательно приходите вместе с Майей, Питер. В этот раз моя очередь, ты ведь не забыл? Так давно я ее не видела, соскучилась.

– Я тоже. Только нет ее, улетела. Вернется уже после праздников.

– Да? Ну тогда тем более приходи, чего тебе одному дома? Одному одиноко, особенно в праздник. Вот и наговоритесь друг с другом наконец – ты и Дюк. Ну, или намолчитесь. Вы же у меня первые молчуны на острове. А я уж рядом с вами себе место найду. Сольвейг я тебе, конечно, не заменю, но и скучать не дам. Договорились?

Она машет рукой и мне и Дюку сразу и уходит, не оглядываясь и унося с собой ветер, который послушно забирается к ней в капюшон просто потому, что это вошло у него в привычку. Мы с Дюком смотрим ей вслед и расходимся тоже. Они остаются вдвоем – океан и небо. Они все видят и все знают. Вот пусть и расскажут – хотя бы друг другу.

Сольвейг – так Майю назвал Дюк как раз в прошлый Новый год. Она хозяйничала: раскладывала приборы, расставляла закуски, рассаживала гостей. Дюк наклонился ко мне и ткнул локтем:

– Ишь как расцвела она у тебя. Красавица. Сольвейг. Гляди, уведут.

– Знаю, что уведут. Но так ведь и должно быть, – я словно слышу себя со стороны, и голос мой бесстрастен. – А почему Сольвейг?

– Говорю же: красавица. К тому же Сольвейг по-древненорвежски еще и хозяйка, – он подмигнул, или мне показалось, – а она ведь у тебя не просто хозяйка, верно?

Уже давно, и я довольно точно помню когда, я понял, что правда и ложь всего лишь изнанка друг друга, впрочем, как и все в жизни. Именно поэтому так легко лгать даже себе. А уж кому-то еще...

И я пожимаю плечами.

– Главное, – говорю я, – чтобы она была хозяйкой самой себе, а я уж... – и ловлю на себе Наташин взгляд с другой стороны стола.

И даже догадываюсь, о чем он. Может быть, даже знаю. Лгать на самом деле легко, но лишь до тех пор, пока вдруг не замечаешь, что это уже и не ложь вовсе, а значит, и выбора – нет.

После исчезновения Агнешки Наташа стала попадаться мне на глаза в баре. Не слишком часто – два-три раза в месяц. Иногда мы болтали, впрочем, не особо откровенничая друг с другом, и возможно, как раз потому, что было о чем. К тому же польская кровь давала о себе знать – она умела пить. Но однажды мы с ней все-таки изрядно набрались. Она вошла, увидела меня, под села, и как-то все само собой закрутилось. Каждый из нас думал и пил о своем, мы и не разговаривали почти, пока ее не развезло. И не понесло.

– Хлопчик, ну ты-то меня должен понять! Кто же еще? Ты, конечно, молчун, но думаешь, я не вижу? – она прищурилась и вздернула подбородок. – Думаешь, я пью? Вовсе нет. Я просто хочу забыть. Только не то забыть, что было, а то, чего так и не было, понимаешь? Не случилось.

– Наташа, тебе больше не стоит, честное слово. Пойдем, я тебя отведу домой, и сам тоже... Мне пора, завтра она приезжает. Ну, идем же.

– Она? А, ну да, Сольвейг, кто же еще? Ты только молчи, слышишь! Молчи! Пусть они все говорят, а ты – молчи. И не верь. Врут. Про любовь что ни слово – ложь. Потому что про нее вслух нельзя, – взгляд ее сделался вдруг совершенно трезвым и чуть насмешливым, – уж ты-то знаешь, – она заплакала.

– Знаю, конечно, знаю. Ну, идем.

– Она вернется, не может не вернуться. И тогда наконец все закончится, по-другому просто не может быть.

– Этого никому не дано знать. Пока что пусть она просто вернется, и все, а дальше будь что будет.

– Будь что будет? Да если бы я только захотела...

– Не надо об этом, Наташа. Я этого не слышал.

– Ты хороший, Питер, только это не поможет, – она шмыгнула носом, – ни мне, ни тебе. Тебе тоже, слышишь? А говорить об этом и в самом деле ни к чему. А тогда о чем же? Больше-то все равно ничего нет.

Назавтра она попросила прощения.

– Расклеилась я вчера, прости. В самом деле ни к чему это все, просто иногда ужасно хочется быть слабой. Спасибо, что не бросил, Питер, и вообще... Ну, ты сам знаешь. Я у тебя в долгу, а долги я возвращаю. Всегда.

ФЕЛИЧЕ

Феличе небрит с итальянской тщательностью, кроме того, я всегда засматриваюсь на его руки. Они, как у любого хорошего бармена, постоянно в движении, но Феличе не просто хороший бармен, он бармен от бога, и его руки танцуют – то джайв, то пасодобль, то бог его знает что – в зависимости от напитка и его неумного темперамента.

Он видит меня и улыбается.

– Chao, amico!

– Привет, Феличе!

Феличе означает счастье.

На острове два официальных языка – английский и французский, но чаще всего мы говорим на невообразимой смеси обоих, а Феличе к тому же постоянно вставляет родные итальянские словечки, так что выходит нечто совершенно непередаваемое.

Вместо обычной он ставит передо мной изящную коньячную рюмку с золотым ободком и наливает туда «Meukow» почти до краев. Я удивленно поднимаю на него глаза.

– Это мой самый дорогой коньяк, Питер. Для особых случаев. Выпей, я угощаю.

– А по какому поводу? Не припоминаю, чтобы ты когда-нибудь вот так, за здорово живешь...

– Это только для друзей, ты ведь не просто посетитель. Выпей за здоровье маленького Гвидо, Питер! За здоровье моего сына!

– А разве... Ведь у вас с Кончитой нет детей. И, насколько я знаю...

– Знаем только мы трое: я, Лука и Густав, а теперь еще и ты, – что Кончита беременна. У меня будет сын, и я назову его Гвидо, так же, как звали моего деда. Поздравь меня, ну!

– Поздравляю, amico! – я хлопаю его по плечу. – Это в самом деле замечательная новость. За здоровье маленького Гвидо, и за вас с Кончитой! – я поднимаю рюмку и опрокидываю в себя содержимое. – Отличный коньяк, Феличе! А где Кончита? Надо ведь поздравить и ее тоже.

– Вон она, – он указывает в окно. – Вон она, моя Кончита.

Я оглядываюсь. Снаружи, неподалеку, там, где ветер лижет розовеющий снег, Кончита кормит чаек.

Кончита, закат и чайки...

– Это нам бог помог, – Феличе следит за ней влюбленными глазами и, кажется, вот-вот заплачет. – Мы так долго пытались. Скажи, ведь правда, она похожа на мадонну?

Я согласно киваю. Ну вот, скоро и он станет отцом не своего ребенка. Бог, разумеется, помог бы, если бы не этот плотный крепыш с курчавыми волосами и совершенно человеческим именем Лука. Он, конечно, младший брат Феличе, и все такое, но когда он берет Кончиту выше локтя за обнаженную руку и та поднимает на него глаза... Это видят все, кроме самого Феличе, хотя – кто знает...

И при чем здесь любовь?

Есть весна, есть боль, есть разлука, но никто и никогда не сможет соединить несоединимое: запад и восток, солнце и луну, отца и дочь. Разлучить – да, а вот соединить...

О любви вслух действительно нельзя, потому что я и сам не понимаю, кто же я моей дочери на самом деле. Да, солнечные затмения тоже иногда случаются, ну и что? От пустой надежды только хуже: и рад бы забыть, да не можешь. И какая разница, когда я понял это в первый раз?

Иногда по вечерам она подходит и усаживается ко мне на колени – просто так. Обнимает за шею. Последнее время это происходит нечасто, и только если она хочет сама, я стараюсь избегать этого как могу. Потому что теперь от нее пахнет морем, и не замечать этого с каждым днем все труднее.

Я отворачиваюсь от Кончиты и уходящего солнца. Моя рюмка уже полна снова, а Феличе говорит:

– Конечно, Питер, еще слишком рано, я знаю, но я просто уверен, что будет мальчик, я чувствую, и все тут.

– Само собой, но, поверь мне, и девочка – это тоже замечательно. И в следующий раз, кто знает, быть может, у тебя будет еще одна маленькая Кончита, еще одна маленькая красавица. Твоя, и только твоя. Разве это не прекрасно? – я делаю крохотный глоток.

Феличе провожает взглядом мою руку, смотрит в окно, и его глаза темнеют. Помолчав, он произносит:

– Моя, и только моя, да, ты прав. И вообще, семья – это главное. Дети, братья и сестры – одна кровь. Нет ничего важнее этого, ведь правда? Вот хотя бы мы с Лукой, он на целых двенадцать лет младше, а мы с ним с самого детства не разлей вода. Потому что – кровь. Вообще-то, пора уже и ему остепениться, только где сейчас найдешь хорошую итальянскую девушку, скажи?

– Обязательно итальянскую?

– Почему же, можно сделать исключение, и одно я знаю точно. Как там, кстати, твоя дочка, Питер? У нее с этим... Сержем все на самом деле серьезно?

Я едва не роняю рюмку – как?

– Откуда тебе это известно? Про Майю и... про этого парня?

Он улыбается – одними губами.

– Это остров, Питер, а он всегда все про всех знает, ничего не скроешь, как ни старайся. Вот так, amico!

БЛИЗНЕЦЫ

Я выхожу на улицу, и пока, стоя у дверей, раздумываю, идти ли домой прямо сейчас или дожидаться, когда Кончита закончит, наконец, кормить чаек, из-за угла появляется Густав – высокий, сутулый, немного нескладный. Я до сих пор не понимаю, почему он называет меня Knabe – единственным немецким словом, которое я когда-либо от него слышал, потому что немецкого он не знает. Собственно говоря, он называет так всех лиц мужского пола, к которым испытывает симпатию. Кроме того, Густав, как и всякий доктор, обожает порассуждать о смысле жизни, добре и зле, а также сортах виски – в этом он и правда кое-что понимает. Каждый раз, когда я вижу его – на пороге ли своего дома или в любом другом месте, – он произносит одну и ту же фразу: «Привет, Knabe! Ну, как там моя крестница?» Именно так он называет Майю с тех пор, как однажды спас ее от перитонита, и, по-моему, таких крестников у него каждый четвертый или даже каждый третий в округе. У него есть сестра-близнец, похожая на постаревшую Офелию – не только прозрачностью кожи и голубыми жилками на худых запястьях, но и именем Амалия, – по крайней мере, так мне кажется. С кем бы и о чем бы ни говорила, она размахивает руками, как крыльями, словно вот-вот взлетит. На самом деле лететь ей некуда, она живет, прилепившись к Густаву, как мох к стволу дерева – не отодрать. Да и поздно уже, обоим ведь за шестьдесят.

Феличе прав, остров и в самом деле все про всех знает – непонятно каким образом, но это так. Я благодарен ему в том числе и за это. Чужие истории бродят тут, как тени, – у каждого своя. Вот и у них, Густава и Амалии, тоже – их, и только их. Именно они, эти истории, отвлекают меня от моих собственных теней и моего собственного счастья. Вернее, от невозможности его.

– Привет, Knabe! Ну, как там моя крестница?

Я жму протянутую руку.

– У нее зимние каникулы. Она...

– В Париже, я знаю. И еще кое-что знаю.

– Видишь ли... В общем, меня это уже не удивляет.

– И правильно. Ты не беспокойся за нее, все будет хорошо, и даже еще лучше.

– Это как?

– Увидишь, все сам увидишь. Ты сейчас домой?

– А куда же? Только вот дождусь Кончиту...

– Так ведь это может быть долго, очень долго. Ты же знаешь, да?

– Потому и не хочу мешать. Чайки слетаются к ней так, будто она одна из них. Она словно говорит им: «Мы одной крови – вы и я». И они верят.

– Вот-вот. Кончита, она такая. Слушай, Knabe, можно напроситься к тебе в гости? Здесь шумно, а мне сегодня тишины хочется. Заодно и Амалия проведет вечер в одиночестве, это бывает полезно.

...Как только мы усаживаемся у камина, ветер наконец успокаивается. Снежные хлопья сплошной белой стеной, лишь время от времени какая-нибудь особо любопытная снежинка прилипает на секунду к стеклу, заглядывая в окно, и тут же исчезает. Снега – словно на всю оставшуюся жизнь.

– Как обычно? – я вопросительно смотрю на него, держа в руке бутылку виски. – Или, может...

– Ни в коем случае. В моем возрасте не изменяют самому себе, слишком непредсказуемыми могут оказаться последствия, вернее, как раз предсказуемыми, – он смотрит, как я наливаю виски, тянется к стакану, делает глоток. – Хорошо! За то, что шотландцы придумали скотч, я готов простить им даже то, что они одели мужчин в юбки, – и, пожевав губами, добавляет: – Скажи, Питер, тебя не слишком утомит, если я немного пофилософствую? Наверное, это снегопад на меня так действует. Тебе даже необязательно отвечать, просто слушай, и все. Кстати, знаешь, почему ты так быстро стал тут своим? На острове ведь не все приживаются, не всех он принимает, а вот вас – тебя и твою дочь – сразу.

– Ну и почему?

– А вы похожи – остров и ты. Во-первых, потому что ты молчун. Но этим тут многие отличаются, местная, так сказать, особенность. Тот же Дюк, например, приятель твой. А ты... ты слушать умеешь. Слушать и слышать. Таких раз-два и обчелся, да и не только тут, я думаю. Потому-то я сижу и разглагольствую сейчас здесь у тебя, а не где-нибудь еще.

– Допустим. Но Майя ведь совсем другая. Совсем.

– Ну и что? Она же твоя дочь, кровь от крови, плоть от плоти, – он делает еще глоток и поднимает на меня глаза. – Ничего удивительного. Хотя, конечно, все бывает. Вернее, чего только не бывает. Ты, кстати, не забудь задумать желание на Новый год, тебе ведь есть о чем просить, правда? Чего желать?

– Как и каждому из нас, Густав.

– Вот я и говорю – не забудь. Желания, бывает, и сбываются, Кнабе. До такой степени, что я про себя называю остров – ты никогда не догадаешься – Стеной Плача.

Это наша здешняя традиция или привычка, не знаю. Каждый раз в новогоднюю ночь мы вкладываем в пустую бутылку из-под шампанского записки с нашими тайными желаниями, запечатываем ее и бросаем в океан. И они исполняются, по крайней мере, в это верят все, включая и меня самого. То ли потому, что чудеса случаются на самом деле, то ли потому, что мы слишком хорошо знаем, чего ни в коем случае нельзя желать и о чем нельзя просить. Хотя иной раз ужасно хочется попробовать, сил нет, как хочется.

Виски в стакане ведет себя как сонный щенок – переваливается с боку на бок и никак не хочет просыпаться, но даже во сне так и норовит лизнуть тебя прямо в губы...

– Амалия моя что-то хандрит. Похудела. И к Наташе не хочет идти. Не потому, что именно к ней, а... Я и сам не знаю почему. Конечно, может быть, возраст.

– Еще целых три дня, можно и передумать.

– Посмотрим, – Густав выливает в себя остатки виски, удивленно смотрит на пустой стакан и замолкает.

– Может, чаю? – говорю я, чтобы что-то сказать. – У меня есть очень хороший чай. Хочешь?

– Нет, спасибо. Терпеть не могу эти пакетики.

– Я тоже, поэтому завариваю сам. Так хочешь?

– Все равно нет, – он смотрит на бутылку. – Лучше плесни-ка мне еще, а? Такой скотч грех разбавлять. Спасибо, Кнабе, теперь и разговор легче пойдет. Впрочем, я же сказал, отвечать необязательно, я буду говорить за двоих, – он откинулся в кресле и вытянул ноги к огню. – Так, да... Не знаю, известно ли тебе, что мы с Амалией сироты. Женщина, которая нас родила, шестьдесят два года назад, умерла при родах, и я даже не знаю, кто из нас ее убил. Кто из нас младше на те несколько минут, которые стоили ей жизни. Я никогда не говорил об этом ни с кем, и с Амалией тоже, потому что лучше, если она не будет об этом задумываться

вообще – я знаю, что говорю. Так вот, женщина эта, как я полагаю, была созданием легкомысленным и несовершенно, к тому же обойденным жизнью – ни мужа, ни каких-либо родственников у нее, по-видимому, не было. Мы так никогда и не узнали даже ее имени, но поверь, Кнабе, я люблю ее и почитаю ее память, ведь она дала мне жизнь, и, более того, она дала мне Амалию. Это ведь непросто – расти без родительской любви, а если ты еще и одинок... И все-таки, как ни странно это звучит, нам повезло. Сначала потому, что нас не разлучили – мы росли в одном приюте и поэтому остались братом и сестрой. Когда нам исполнилось пять лет, нам повезло снова: из приюта нас, сразу обоих, взяли добрые люди, которые, как могли, заменили нам отца и мать. Их звали Грэг и Сьюзен, у них была небольшая пекарня. Кроме нас с Амалией, там было еще четверо детей, и ни одного общего, так уж получилось. Вообще-то, это отдельная история. Может, я тебе ее когда-нибудь расскажу, а может, и нет, не знаю. Но верно одно: в их семье, в нашей семье, царила настоящая любовь. Я уже долго живу на свете, Кнабе, но больше такого не встречал ни разу. Тебе еще не надоели мои излияния, скажи? – Густав снова делает большой глоток. – Выслушивать такие истории удовольствие маленькое, но иногда и они помогают, правда? Я ведь не ошибаюсь?

– Нет, ты не ошибаешься, – отвечаю я. И потому, что именно такого ответа он ждет, и потому, что так оно, черт возьми, и есть. – Продолжай, Густав, я слушаю.

– Амалия росла резвой и шаловливой девочкой, мне почему-то кажется, в этом она очень походила на нашу мать. Я же, наоборот, был не по годам серьезным и ужасно привязчивым. Иногда я думаю, что мне следовало стать не врачом, а священником, чтобы обратить это качество на служение богу. Но вышло так, как вышло. Впрочем, я не жалею, нет, – он смотрит за окно. – Что-то не припомню я такого снегопада, Питер. Снова будет не проехать. Пока расчистят дороги... Боюсь, в ближайшие дни у меня будет много работы.

– Тебя этим не испугать, это я знаю точно. И какой ты врач, знаю тоже, и не я один. Так что ничего, Густав, перезимуем.

– Перезимуем, да. И не испугать, ты прав. Да и боюсь я уже мало чего – с возрастом количество возможных потерь все меньше и меньше. Остается лишь опыт, который никому не нужен. Ничего нового, Кнабе, ничего нового. Вот только Амалия, она единственное, что меня беспокоит. Моя единственная женщина, – взгляд его делается отстраненным. – Случись что-то со мной, это будет концом и для нее. Я знаю, что ты подумал, но нет, она никогда не была для меня женщиной в обычном смысле. Никогда. Да и что это такое, в конце концов, плотская любовь? Разумеется, у меня она была тоже, и немало. Но это было... черт его знает... Как таблетка от головной боли или стаканчик виски, не больше. Ни с одной из этих женщин мне не хотелось просто поговорить, мне было с ними неинтересно, понимаешь? Мне было скучно. И всегда тянуло побыстрее вернуться домой, к Амалии, принять пищу из ее рук, рассказать, как прошел день. И за все время ни одной греховной мысли, веришь?

Я согласно киваю, хотя, скорее всего, он меня сейчас даже не видит.

– Это лишний вопрос, Густав.

– Что же, хорошо, если так. Хотя, повторяю, чего только не бывает, верно?

Я просто пожимаю плечами – а что же еще...

Он опускает голову и молчит. Долго, минуты две, не меньше, пока я снова не подливаю ему виски, на этот раз совсем немного.

– Правильно, Кнабе. Ты ведь знаешь, я умею пить. Просто сегодня снегопад и ты умеешь слушать. То, что я рассказал тебе, я не рассказывал никому и никогда. Но и это не все. Когда-то давно – мы оба были молоды, я только что получил диплом врача и лицензию, – Амалия влюбилась. Наверное, она очень сильно влюбилась. Впрочем, иначе просто не могло быть, я слишком хорошо ее знаю. И она забеременела. Отец ребенка бросил ее, как только узнал об этом, – она оказалась похожа на нашу мать и в этом тоже. Я испугался, я не хотел, чтобы судьба наказала ее еще раз и убедил избавиться от ребенка. Думал, что убедил, пока

она не попыталась покончить с собой. Она наглоталась снотворного. Ее спасли потому, что я вовремя вернулся домой. Ее, но не ребенка. И мы с ней остались вдвоем снова, как оказалось – уже навсегда. В конце концов она оправилась, хотя это было нелегко и долго. Правда, стала молчалива и начала курить, но со мной была ласкова и заботлива, как никогда прежде. Пожалуй, даже слишком. И пусть не сразу, но я понял причину. Не знаю, как и почему это случилось, но она видит во мне свое нерожденное дитя. Я убил его, Knabe, чтобы занять его место, так выходит. И какая разница, почему я это сделал. Да, я хотел, как лучше – без грязи, без страданий, без боли... Ну и что? Ну и что?

Мы молчим. Мы молчим очень долго. Я не могу его утешить, может быть, только понять, но ведь и это не поможет. Ничто не поможет. И все-таки я обязан что-то сказать – хотя бы.

– Густав, – говорю я, – такова наша человеческая природа: мы уверены, что лучше наших любимых знаем, что для них хорошо, что плохо. Гораздо лучше, чем они сами. И делаем, как считаем нужным. Мы их охраняем – от холода и ветра, от несправедливости мира и даже от самих себя. Но есть то, что называют судьбой. У нее всегда два лица: черное и разноцветное – то, что мы привыкли называть счастьем. Эта самая судьба очень своевольная дама, она любит тех, кто не боится. Она любит смелых. И только им – иногда – открывает свое счастливое лицо. Но ведь все это тебе давно известно, правда?

Он смотрит на меня совершенно трезвыми неподвижными глазами и вдруг усмехается.

– Знаешь, Knabe, тебе надо бы написать книгу. Ведь вы, русские, все писатели. Все, как один. А мне пора домой, Амалия уже заждалась. Снега, конечно, навалило, ну да ничего, не впервой...

НОВЫЙ ГОД

Тридцать первого после обеда позвонила Майя. У них в это время было уже без пяти полночь, и, судя по шуму, вечеринка была хоть куда. Я ее едва слышал.

– Папа, папочка, ты здесь? Ты меня слышишь?

– Конечно, слышу. Хотя у вас там шумно, празднество в самом разгаре, да?

– Да. Место просто шикарное, прямо на крыше, и весь город как на ладони. Папочка, я тебя поздравляю! Я желаю тебе много-много счастья! С Новым годом!

– Спасибо, моя хорошая. И тебя с Новым годом! Мое счастье – это ты. А елка у вас там есть?

– Еще какая – выше неба! – смеется она в ответ. – Я хочу тебя попросить. Я подумала... Пожалуйста, напиши записку с желанием одну на двоих, и за себя, и за меня, вместе. Пусть ее бросят в океан именно так. Ладно?

– Но как же? Ведь, кроме тебя, никто не должен...

– Тебе можно. А еще лучше, если ты просто напишешь свое, и все. Одно-единственное.

– И что?

– Ничего. Оно просто окажется и моим тоже.

– Ну, если ты так хочешь... Хорошо, обещаю.

– И чудесно! Спасибо! Барашки в восторге, передают тебе привет.

– Спасибо, милая, им от меня тоже. Они очень славные ребята.

– Обязательно. Целую тебя. С Новым годом!

На воротах Наташиного дома развешаны гирлянды – будто ветер запутался в звездах. Почти одиннадцать, наверное, уже все в сборе. Внутри негромкий гомон голосов и запахи еды. Столы с закусками и напитками еще почти нетронуты, все только-только начинается.

Ко мне подходит Наташа – легкое, вежливое объятие, такая же улыбка.

– Привет, Питер! Рада тебя видеть.

- Я тоже. Чудесно выглядишь.
- Спасибо. Оказывается, ты способен делать комплименты. Почему я не знала этого раньше?
- Все когда-нибудь случается впервые. И это не комплимент вовсе, ты сегодня на самом деле...
- Что?
- В общем, я слегка завидую Дюку.
- Лет двадцать тому назад я, скорее всего, поверила бы, но все равно приятно. К тому же сегодня у тебя будет гораздо более благодарный объект для приложения своих способностей. И не делай удивленное лицо, я знаю, что Сольвейг все еще в Париже.
- При чем тут она? И почему ты все время называешь ее Сольвейг?
- Потому что красиво и ей идет. Разве я неправа?
- В любом случае я не буду с тобой спорить. Так про какой объект ты говорила? И где ты прячешь Дюка? Сегодня нам точно никто не помешает, я даже на всякий случай оставил дома телефон, чтобы не вызвали на службу если что.
- И правильно. Ты всех увидишь, Питер. И Дюка, и остальных. Идем, надо проводить старый год, выпить за него – на по-со-шок. Так, кажется, да? У вас, у русских?

Я оглядываю стол с напитками, прикидывая, к чему меня больше тянет. Вообще-то, тянет поскорее присоединиться к Дюку, уединившемуся в самом дальнем углу. Издалека вид у него довольно мрачный. Внезапно я слышу из-за спины:

– Как поживаешь, милый? – и, обернувшись, вижу копну рыжих волос, белую, очень нежную кожу и по-прежнему озорные глаза. Вот только чуть добавилось морщин – Мария Магдалина бальзаковского возраста, а на самом деле Аня, вернее, Анюта, причем, на местный лад, с ударением на последнем слоге.

– Ты? Откуда?

– Ты же сам всегда говорил, что мой излюбленный способ – взять и свалиться на голову. Значит, с неба, откуда же еще? Прилетела еще днем. Ты рад?

– Разумеется. Разумеется, я рад тебя видеть, – я, не скрывая, оглядываю ее всю. – Если замужество красит женщину, значит, это счастливое замужество. Ты по-прежнему чертовски хороша.

– Ну, слава богу, а то я уже хотела обидеться. «Разумеется, рад тебя видеть...» Ледяной душ, да и только. Я и так знаю, что ты это умеешь. Ты хоть изредка меня вспоминал, скажи? Или совсем нет?

– Ну почему же? Только ведь это ничего не меняет. Ты замужем, а я...

– Милый мой, я очень хорошо помню: «Мой колодец пуст и жарок, и ни одна птица не залетает в него». Еще когда я услышала это в первый раз, то поняла, что на самом деле ты поэт и, значит, безнадежен. Может быть, поэтому все вышло именно так.

– Ты всегда любила преувеличивать. Это всего лишь фраза, не больше.

– Но и не меньше. Неужели так до сих пор и не залетает?

Я пожимаю плечами и улыбаюсь.

– Если даже у тебя не получилось...

– Потому что в твоём колодце, Питер, уже живет птица. И она не залетела туда, она там родилась. Не пора ли ей его покинуть?

Анюта смотрит на меня молча, не мигая и не отводя взгляд – как кошка. Потом, видимо что-то про себя решив, произносит совсем тихо:

– Я почти готова попытаться еще раз. Знаешь, я ведь до сих пор не могу забыть твой запах. Ты пахнешь...

– Чем же?

– Океаном. Ты пахнешь океаном, милый. Именно этот запах – твой запах – всегда сводил меня с ума.

– Анята...

– И еще. Ты уже бог знает сколько времени разговариваешь с абсолютно свободной женщиной, да-да, свободной, и до сих пор не предложил ей выпить. Это, между прочим, праздник, и у меня уже совершенно пересохло в горле.

В этот момент раздается хлопок – Густав открыл шампанское.

Я машу ему.

– Привет! Ты один?

– Нет. Амалия там, – он показывает куда-то в сторону. – Вышла проветриться. Сейчас вернется.

Я беру два исходящих пеной бокала, один отдаю Аняте. Справа от нас, у торца стола, Дюк и Наташа. Он мрачный, большой и чуть неуклюжий, она затянута в серое платье, тонка и незащитна. И смотрит на него как на ребенка, по-матерински. Анята берет меня под руку.

– Не думай о них, Питер, они сами, им никто не нужен, и ты тоже. Я всего полдня здесь, а уже все знаю – остров ведь не терпит тайн, – она поднимает лицо, и почти касается им моего. – И про твою дочь я знаю тоже, не только, где она, но и с кем. Все одно к одному, Питер, все неслучайно. Давай выпьем за это, а? За то, что еще, может быть, не поздно. Не поздно... – она поднимает бокал. – Ну, давай же!

– Не могу. Очень жаль, но нет.

– Но почему?

– Пить стоит лишь за то, за что имеет смысл пить. Иначе – зачем? Прости, Анята.

Она замирает на секунду, глядя на меня, делает глоток, еще один, и, уже повернувшись, чтобы уйти, говорит:

– Я ошиблась, Питер. Ты пахнешь не океаном, ты пахнешь одиночеством...

Кончита, сидя в кресле, поглаживает свой, пока еще совершенно обычный, живот и тихо улыбается в себя, словно рассказывает кому-то о своем счастье. Кому-то, кого здесь нет. Гостиная полна людей, но пространство вокруг нее заполнено пустотой. Лишь Феличе, пошептавшись с Густавом, подходит к ней с бокалом шампанского – если немного, то можно, даже полезно. Ведь когда она выпьет, то делается такой ласковой и такой его, какой никогда и не была. Хоть на вечер, хоть на час, хоть на минуту, что из того? Пусть. Все равно никто не знает ее, как он. У него своя Кончита: ни громкого слова, ни смеха, даже улыбается она редко, но как она улыбается! Он плачет каждый раз, когда видит эту улыбку. Плачет и молится всем богам на свете. А главное – она родит ему сына, подарит ему вечность, разве можно желать большего?

Она берет бокал, медленно подносит к губам, пробует золотистую жидкость, делает глоток, другой. Морщится.

– Больше не хочу. Устала, – она произносит это почти шепотом, но он слышит. – Я просто посижу. Просто так.

Наконец я подхожу к Дюку. Он глядит в окно, в котором, кроме наших лиц, не видно ничего.

– Старый год уходит, – он говорит так тихо, что я едва слышу. – Как там она?

Я не удивляюсь, хотя эти же слова одновременно с ним я произношу про себя.

– Где – там?

– Там, – он кивает в окно. – Она вернется, Питер. Не знаю, скоро ли, но вернется. Так и будет.

Пока я раздумываю, что ему ответить, рядом с нами распаивается дверь на террасу, входит Амалия, а вместе с ней врывается холодный воздух и чуть-чуть метели: снежинки сверкают и переливаются в свете люстры, опускаются на лица, на волосы, на плечи. А она... На ней лиловое платье с широкой юбкой и белые кружевные перчатки по локоть – наряд, который она надевает на все праздники, ни в чем другом я не видел ее ни разу. Вместо сумочки аккуратный холщовый мешочек, в котором она держит сигареты, ключи и помаду. Курит Амалия немного и очень быстро, две-три затяжки и сигарета летит в снег. Она, конечно, старомодна и чудаковата, но не более чем эта метель и хоровод снежинок, и музыка, и облачка пара от дыхания танцующих.

Густав с Анютой кружатся в вальсе, Феличе, хоть он совсем не умеет танцевать, виртуозно ведет Наташу в медленном фокстроте, Кончита – эта маленькая, чужая и совершенно неземная женщина – покоряется рукам Луки в латино, и шепот ее заглушает музыку: «Что же ты делаешь? Что же ты делаешь со мной, мальчик?»

Агнешка и Дюк почти не двигаются, она прижалась к нему – не оторвешь.

Где же Зая? Я ведь обещал, я должен...

...пижамка с барашками уже давно тебе мала, а гостиная превратилась в огромную снежинку и легла короной прямо на твою стриженую детскую головку.

...Анюта, болтая ногами, сидит на облаке, смеется и кричит оттуда одно и то же: «Она все равно улетит, Питер! Все равно улетит!»

...Густав в килте и гольфах с кистями, вертясь перед зеркалом, задумчиво изрекает: «А вроде ничего. Амалии должно понравиться, как ты считаешь?»

...Дюк улыбается и хлопает меня по плечу: «Я же говорил, что она вернется. Она просто не могла дозвониться».

...я тянусь, я хочу дотронуться до этих слов, до этой фразы, но она вдруг падает и разбивается на слова-осколки: это тебя-это тебя-это тебя...

– Это тебя, – одной рукой Дюк трясет меня за плечо, в другой у него телефон. – Майя. Она не могла до тебя дозвониться, поэтому позвонила мне, на мой, слышишь? Догадалась. Да возьми же трубку, наконец!

Я выхватываю у него телефон и почти кричу:

– Зая, это я, я! Говори! Говори же, ну! Что?

Почему мне кажется, что случилось что-то непоправимое?

ЗАЯ

Лет до пяти она очень часто болела. Бывало, выздоровеет, только в садик пойдет и тут же снова. Тогда нам с Мариной приходилось работать в разные смены – я брал себе ночные дежурства, чтобы днем мы с нашей малышкой могли «поболеть вместе» – так это у нас называлось. Я доверху наполнял термос свежесваренным чаем, мы запасались малиновым вареньем и забирались на наш старый и продавленный, до последней вмятины знакомый диван. Я укутывал ее в одеяло, брал на колени и в самом прямом смысле начинал ею дышать.

– Дыши на меня, зайчонок, дыши, выдыхай свою болезнь, я заберу ее себе.

– Но ведь тогда ты заболеешь, – шептала она простуженным голосом, и я чувствовал ее горячее дыхание на своей шее.

– Я никогда не болею, разве ты не знаешь? Ну, скажи, ты помнишь, чтобы я болел хоть раз? Помнишь?

Она смотрит на меня и качает головой.

– Вот видишь, мне нельзя болеть. Совсем.

– Почему?

– Потому что у меня есть ты – мой Майчонок-зайчонок, моя дочка, а значит, я должен о тебе заботиться, защищать, лечить, как сейчас. Ведь так?

И она устраивалась поудобней, утыкалась мне в шею и засыпала. Я сидел, почти не шевелясь, иногда дремал вместе с ней, а когда она просыпалась, поил чаем с малиной и рассказывал подряд все сказки, которые умудрялся вспомнить или тут же на ходу сочинить. Однажды она никак не могла уснуть, и я придумал позвать на помощь барашков. Поначалу она удивилась:

– Каких барашков?

– А разве я не рассказывал? Есть такие барашки, очень добрые и ласковые, они приходят и помогают детям уснуть.

– А откуда они знают, что я не сплю? Они что, волшебные?

– Еще какие – самые волшебные барашки на свете. Ты только представь, как они пасутся и щиплют траву, у них кудрявая шерстка и очень симпатичные мордашки. Они подходят по одному и тычутся ими прямо в твою ладошку. Представила?

– Ага.

– Ну вот, а теперь закрой глаза и попробуй их сосчитать, каждого, кто подойдет.

– Но их же много, а я умею только до десяти.

– Не страшно. Ты, как дойдешь до десяти, каждый раз начинай сначала, вот и все.

Она зажмуривается, и губы ее начинают шевелиться. Она считает про себя, вдруг открывает глаза и говорит:

– Папочка, у меня не выходит. Они разбегаются, им скучно считаться просто так.

– Это бывает. Сейчас мы придумаем про них сказку, такую, чтобы они заслушались. Тогда они не разбегутся, и ты сможешь их сосчитать.

– Давай. Только я не смогу сразу и придумывать, и считать, придется тебе, ладно?

– Ладно, но ты лежи тихо с закрытыми глазками, и как только они соберутся вместе, сразу начинай считать.

– Договорились, – она закрывает глаза. – Начинай.

– Давным-давно, когда ты была совсем маленькая, а может, еще раньше, жили-были на свете волшебные барашки. Это были очень хорошие и добрые барашки, но вот беда, они все время разбегались в разные стороны. Поэтому, когда наступал Новый год и надо было собираться дома за праздничным столом, обязательно кого-нибудь не хватало.

– А дома – это где?

– Там, где они жили. Совсем недалеко.

– В соседнем доме?

– Гораздо ближе, – и я кладу руку на ее головку. – Вот здесь.

– Здесь даже один барашек не поместится.

– Поместится. Это же не обычные барашки, а волшебные, совсем крохотные. И потом, понимаешь, какое дело, они, если что, должны быть всегда под рукой.

– У кого?

– У тебя, конечно. Это же твои барашки.

– А как это – если что?

– Это... ну, как если вдруг.

Она морщит лобик.

– А у тебя такие барашки тоже есть?

– Мне они ни к чему, потому что у меня есть ты. Ну, а если что... если вдруг, ты же ведь поделишься со мной, правда?

Ее голос становится тише, речь все медленнее.

– Поделюсь... Расскажи, какие они...

– Они все в кудряшках и ужасно умные. Это главное.

– А что они... умеют делать?

– Выполнять разные желания. Все, что задумаешь.

Она уже спит, но все-таки успевает задать еще один, последний вопрос:

– А что задумаешь... ты?

– Я уже задумал.

– Что?..

Она спит, но я все-таки произношу одно-единственное короткое слово:

– Тебя.

Уже давно я произношу его и много других слов только про себя. Потому что есть часть жизни, над которой мы не властны. Потому что это моя Зая, моя единственная дочь.

И будь я проклят, если знаю, что с этим делать. Что делать с этой нежностью – до комка в горле, до судорог на кончиках пальцев.

Вдруг остро захотелось, чтобы все было как раньше: елка до потолка, запах хвои, Зайка и ее любимая пижама с барашками. Чтобы, так и не дождавшись двенадцати, засыпала у меня на коленях. Вот я несу ее, укладываю, снимаю с ног башмачки, укрываю одеялом. Усаживаю рядом с кроваткой пушистого белого зайца, чтобы обрадовалась, когда проснется, и чтобы можно было сказать ей наутро: «Ну вот, теперь у каждого из нас есть по зайцу, правда, здорово?»

И она забирается ко мне подмышку, прижимается всеми своими барашками, и мы просто валяемся и рассказываем друг другу новогодние сказки и все подряд.

И снег за окном, и жизнь еще никогда не кончится.

И я всего-навсего отец.

– Папочка, у меня все в порядке, не кричи так. Все хорошо. Я просто хотела поздравить тебя еще раз, по вашему времени. И, пожалуйста, не забудь сделать то, что ты обещал. Я про записку, помнишь?

– Конечно. Обязательно. Этот твой звонок... Я почему-то решил, что-то случилось, – я делаю Дюку знак, и он мгновенно исчезает, мы остаемся с ней один на один. По крайней мере, меня никто не слышит. – У тебя в самом деле все хорошо? Вот все-все, а? У Сереги, у Сержа твоего тоже?

– У него тоже. Наверное...

– Почему наверное? Что-то ты... Давай-ка рассказывай, в чем дело? Поссорились, что ли?

– Да нет, папа, не поссорились, не в этом дело. Просто... мы уже не вместе. Мы расстались.

– Но ведь всего несколько часов назад, когда ты звонила в первый раз, все было в порядке? Или ты не хотела говорить? Послушай, Майя, мне приходится тянуть из тебя каждое слово. Пожалуйста, расскажи мне, что произошло? Если вы не вместе, значит, ты сейчас там одна, так? Или?..

– Одна без всяких или, не сомневайся. Я просто поменяла отель, и билет тоже. Завтра я наконец буду дома. Ближе к вечеру. Ты же рад, правда? Я ужасно соскучилась. Вообще, хочу домой, к тебе. К тебе, к тебе. Париж прекрасен, но у нас есть свой – у тебя и у меня. Вот и все. А Сережа... Ну, это было, как... у тебя с Анютой, понимаешь? Мне показалось, я думала, что можно и так тоже. А здесь я увидела столько счастливых лиц, счастливых по-настоящему, без и так тоже. Сказала ему об этом и ушла. Я знаю, я поняла, чего я хочу на самом деле. Вернее, кого. Давно, может быть, слишком давно, в этом все дело.

– Ты говоришь загадками, мне трудно понять.

– А мне очень трудно говорить об этом. С тобой. Но нам все равно придется. Я хочу, чтобы ты знал: мама оставила письмо, ну... перед смертью. Тете Жене. Там все про нас с тобой, кто мы друг другу на самом деле, то есть кем мы на самом деле никогда и не были, хотя...

Я совсем запуталась, прости. В общем, там все написано. Мама хотела, чтобы, когда мне исполнится восемнадцать, я узнала. И я узнала, тетя Женя переслала мне фотокопию по электронной почте. Всего одна страница, я покажу тебе. Я долго пыталась убежать сама от себя. Пока не случился Париж. Ну вот, теперь ты знаешь, ты понял. Об остальном завтра, хорошо?

– Зая, я... скажи мне только одно, она... мама... написала – кто?

– Для нас с тобой это совершенно неважно. Его никогда не будет в моей жизни, а значит, и в твоей тоже. К тому же его нет на самом деле. Уже давно. Зато есть я и ты. Только я и ты. А маме я благодарна, потому что каждый имеет право знать. И что больше не надо притворяться – тоже. А мы притворялись – и ты, и я. А теперь... Пусть я не твоя дочь, но все равно твоя, и только твоя. До завтра... папа.

Нет, мне не стало легче, если вы так думаете. Потому что, скорее всего, не стало меня. Оттого ли, что я перестал быть собой, оттого ли, что только сейчас, в эту самую секунду...

– Питер!

Наташа, конечно, это она, кто же еще? А я-то думал...

– Питер, слышишь? Что с тобой? Что случилось? – она берет в руки мое лицо. – Что-то случилось? Отвечай!

Но я не могу. Не могу, и все. Потому что думаю о другом.

Только я и ты. И больше не надо притворяться.

Не надо притворяться.

Не надо...

– Наташа, моя дочь сказала сейчас удивительную вещь. Она сказала: «Только я и ты. И больше не надо притворяться», – понимаешь?

Наташа убирает руки и выдыхает:

– Уф-ф-ф... Слава богу, я уж подумала, что-то случилось, а всего-то-навсего девочка выросла. Теперь я спокойна, Питер. Спокойна за вас обоих.

– Знаешь что, Наташа, – я смотрю на часы. – Знаешь что? До Нового года всего ничего, три минуты, а мы так ничего и не успели – ни задумать желание, ни даже выпить.

– Мне показалось, что это самое желание ты только что произнес вслух. В любом случае разбираться с этим тебе, и никому больше. А выпить еще не поздно, я принесу шампанское и позову Дюка. Подожди, мы сейчас.

Она уходит, а я отворачиваюсь к окну и утыкаюсь лбом в ледяное стекло. За ним – океан. Я не вижу его, но знаю, что так оно и есть.

И три бесконечных минуты, чтобы не попросить о том, чего хочешь больше всего на свете.

То, чего желать ни в коем случае нельзя и не пожелать невозможно.

Всего три минуты.

Только я и ты.

И больше не надо притворяться.

Часть вторая. Почему бы и нет

РОЖДЕНИЕ

В начале июня Кончита родила мальчика.

Выписали ее и малыша в четверг утром, и жара в этот день стояла такая, что плавилось все, даже птицы на проводах, а океан укрылся маревом до самого горизонта. А уже в субботу друзья, соседи, да и просто все, кто хотел, пришли поздравить родителей и увидеть долгожданного наследника. Шума в доме у Феличе было не меньше, чем в баре. Впрочем, бар на пару дней был закрыт, вернее, просто переехал на это время в этот самый дом.

Кончита восседает в кресле, как на возвышении, хотя никакого возвышения нет и в помине. Рядом с ней люлька с безмятежно спящим Гвидо – ему не мешает даже эта нескончаемая, шумная череда гостей. Зато Феличе все время в движении, иначе он просто не может. Он снует между гостями, подводит вновь пришедших к жене и ребенку и бесконечно улыбается – он счастлив, счастлив на самом деле. И с этим уже ничего не поделаешь.

Голос Густава от самых дверей:

– Показывай свое чадо, Кпабе, и свою мадонну!

Едва Феличе подводит его к Кончите и малышу, тот просыпается и заходится плачем. Мать берет его на руки, а Густав наклоняется и слегка дует ему на макушку. Когда ребенок затихает, он улыбается.

– Ну вот. Это родничок. На него надо подуть, это щекотно. Детям это нравится.

Шесть лет назад он так же дул на Майю. На ее макушку.

Ее детский врач принял гнойный аппендицит за приближение месячных. К ночи, когда поднялась температура и стало совсем плохо, я позвонил Густаву, и уже через четверть часа он был у Майкиной постели. Положил руку на ее горячий, как ночной снег, живот, и произнес только два слова:

– Скорую. Быстро!

И пока не приехала скорая, держал ее голову на коленях и точно так же дул на макушку. Опоздай мы тогда хоть чуть-чуть... А может, и в самом деле – родничок.

– Ну что же, начало положено, но ведь это только начало, не так ли? – Густав смотрит по очереди на обоих. – Теперь вам обязательно нужна девочка. Пока, конечно, рано, но и затягивать не стоит.

Шум вокруг не утихает, но тогда откуда эта внезапная тишина, такая плотная и звонкая, что, кроме нее, ничего и не слышно. Кончита распускает шнуровку, обнажает левую грудь, подносит к ней малыша. Ее предплечье украшает синяк, еще один угадывается на левом плече, у основания шеи. Феличе глядит на них, и глаза его наполняются слезами. Но и от радости ведь плачут тоже.

– Конечно, Густав, мы знаем. Надеюсь, бог не оставит нас и на этот раз, а мы уж постараемся. Дочка нам очень нужна, очень. Вот и с Питером мы об этом говорили. Еще зимой. Помнишь, amico?

– А как же? – я стараюсь улыбаться как можно убедительней. – Хотя ты и так невероятно богат, ведь ты обладаешь мадонной, но две мадонны всегда лучше, чем одна, правда? Особенно, если они твои, и только твои, большая и маленькая.

Феличе радостно кивает, он не слышит окончания фразы, и в этом нет ничего странного – оно у меня внутри: «Но ведь маленькая вырастет и тоже станет большой. И тогда – что со всем этим делать?»

Лето на острове – это, прежде всего, краски. Все, даже мы сами, кажется пастельным, или положенным на холст, словно в зале импрессионистов Русского музея, или любого другого. Может, именно поэтому ни музея, ни галереи здесь нет – зачем? Вот пятно незабудок у дороги – будто само небо, развеселившись, плеснуло кобальтом прямо на землю. Океан, снисходительно-лениво поглядывает на все это разноцветье, он-то точно знает: лето будет недолгим, скоро, совсем скоро, осень, и вот тогда...

Майя теперь приезжает гораздо чаще, на все выходные, а иногда даже посреди недели. За эти полгода у нее изрядно отросли волосы, а больше в нашей жизни не изменилось ничего, сколько бы ни таращились галки, заглядывая с веток в наши окна.

За обедом она рассказывает мне, как прошла неделя, и все-все-все, а ближе к вечеру, уже в сумерках, мы выходим на берег и идем вдоль кромки до самых скал, и все это время говорим, говорим, говорим, чаще всего молча, о том, о чем говорить нельзя. Правда, сегодня она рассеяней и молчаливей, чем всегда, зато я рассказываю ей про Кончиту с младенцем и ее синяки.

– Давай присядем, – говорит Майя и тянет меня за собой. – Вон тот камень, видишь?

Большой плоский валун у самой воды, она кладет голову мне на плечо, долго молчит и вдруг задает странный вопрос:

– А ты мог бы меня ударить?

Я поворачиваю голову и утыкаюсь лицом в запах ее волос.

– То есть как? Зачем?

– Ну, вообще. Если бы мы жили вместе?

– А разве мы не вместе? Я не понимаю.

– Я хочу сказать, жили бы как муж и жена?

– Какая разница – во-первых? Мы с тобой не муж и жена – во-вторых.

Майя встает, делает несколько шагов в сторону, поднимает и бросает в воду камешек, еще один. Я не слышу всплесков, зато слышу ее голос.

– Ты так и не ответил.

– Не просто мог бы, а с большим удовольствием. Хорошая взбучка тебе точно не повредит.

Она подходит, опускается передо мной на колени – прямо на песок, на камни – и, глядя на меня снизу вверх, произносит:

– Чего же ты ждешь?

Полгода назад мы так и не произнесли слова «любовь» – по крайней мере, в том самом смысле. Майя просто вошла, бросила на пол дорожную сумку и кинулась мне на шею:

– Папочка! Я так соскучилась!

С тех пор она продолжает называть меня по-прежнему – папа. Все это время и несмотря ни на что. Тогда мы проговорили всю ночь, я прочел наконец то Маринино письмо. Мы говорили обо всем, только о любви – нет. В какой-то момент она подошла, обняла меня за шею, ее губы были уже совсем рядом, и я уже почти отвернулся, но тут она сказала:

– Ты знаешь, это вовсе не так легко, – и спрятала лицо у меня на груди.

Все, что мне оставалось, – это прижать ее еще сильнее, гладить непривычно короткие, мальчишечьи вихры и повторять:

– Все будет хорошо, обещаю. Откуда тебе было знать, что не притворяться – и есть самое трудное.

Она замотала головой.

– Дело не в этом. Нам нужно время, и тебе, и мне. Мы стали другими, но еще не привыкли к самим себе и друг к другу. Я знаю, что это случится, но не знаю когда. И ужасно жаль времени.

Под утро, когда желать друг другу спокойной ночи было уже поздно, мы все-таки разошлись по своим комнатам.

АГНЕШКА

Я очень хорошо помню, как исчезла Агнешка.

Всего за четверть часа до конца моего дежурства девятьсот одиннадцать сообщила о пропаже женщины, и это был адрес Дюка. Конечно же, я поехал. И потому, что остров – это семья, а он ее неотъемлемая часть, и потому, что именно они с Агнешкой поддержали нас в первое, самое нелегкое время, и просто потому, что это Дюк. Ну и люди не должны пропадать просто так, не должны, и все. Иначе для чего нужна муниципальная полиция?

Дюк встретил нас на улице около дома. Вид у него был усталый, покрасневшие, воспаленные глаза, но выражение лица даже спокойнее, чем обычно, хотя и обычно он тоже не слишком проявляет свои эмоции.

– Привет, ребята. Такое дело... Агнешка пропала. Еще вчера. Искал ее всю ночь и утром тоже, и вдоль берега, и в дюнах. Потом позвонил в девятьсот одиннадцать.

– Когда ты видел ее в последний раз?

– Вчера утром. Потом ушел на маяк, а оттуда к тебе, Питер. Но перед этим я ей звонил, предупредил, что зайду к тебе. Часа в четыре.

– Родственники, подруги?

– Сестра у нее есть двоюродная, но далеко, на материке. Они и по телефону-то редко, не чаще раза в месяц, говорят. Она ничего не знает. А подруги... Все мы здесь – друзья и подруги, народу-то... Пспрашивал так, навскидку, никто ничего...

– Записку, может быть, оставила, что-нибудь еще?

Дюк качает головой:

– Нет. Не видел. Ничего.

– Из дома что-нибудь пропало? Ценные вещи, украшения, ее одежда, белье, косметика? Проверял? Ее сотовый?

– Да какие у нас ценные вещи, Питер? Откуда? Уж ты-то знаешь. Телефон ее здесь, на кровати нашел, а одежда, белье? Вроде на месте, я, честно говоря, не очень...

– Ладно, Дюк. Мы сейчас все осмотрим и составим протокол. Ну и, – я смотрю прямо ему в глаза, – поговорим с Наташей. Кстати, когда ты ее видел последний раз?

Нет, взгляда он не отвел, вздыхает и тихо отвечает:

– Ну да, понятно. Работа у вас такая, чего уж там. Наташа вчера ко мне приходила на маяк. В полдень.

– Когда ушла?

– Часа в два. Она поесть приносила, мы с ней обедали.

Берег мы обыскали самым тщательным образом. Вообще, проверили все, что возможно, и что в таких случаях проверять полагается, вплоть до ее телефонных звонков. Агнешка словно в воду канула. Впрочем, может, так оно и было на самом деле. Но признаков похищения, смерти, а тем более насильственной смерти, обнаружено не было, и, когда все процедуры были завершены, дело отправили в архив.

Пропал человек, бывает и так.

Они прожили вместе почти двадцать лет. Детей не было, и Дюк никогда этой темы не касался, а я, разумеется, тоже вопросов не задавал. Агнешка не работала, смотрела за домом, за садом, вела хозяйство. У них была корова, которую Майя прозвала Незабудкой, и имя это

прижилось, хотя, чтобы научиться правильно его произносить, Агнешке понадобился целый месяц. Зато сама Незабудка стала откликаться на него почти сразу – мычать, поворачивать голову и косить влажным глазом. Мы снимали у них небольшую пристройку целых полгода в самом начале, когда я, наконец, получил место в полиции, уже можно было брать в банке ссуду, и мы подыскивали свой собственный дом. Тот самый дом навсегда.

Трудно сказать, были ли они счастливы чуть больше или чуть меньше других, но то, что главным членом их семьи было молчание, я знаю наверняка. Оно усаживалось между ними перед включенным телевизором или за обеденным столом, и не заметить его было невозможно. О чем молчал Дюк, я могу себе представить, а вот Агнешка... Я думаю, их было две: одна до, вторая после появления Наташи, хотя кто знает. И можно, конечно, предполагать, рассуждать, догадываться – ну и что?

Я помню, как она встречала его на пороге, как он сбрасывал ей на руки одежду и шел мыться, как выходил после душа к уже накрытому столу. Может быть, ей просто хватало того, что это ее дом и ее муж, что ему тепло и уютно, что день катится к закату и скоро, совсем скоро, она будет лежать рядом с ним, слушать океан и его сонное дыхание. Наверное, она была ему хорошей женой. Повторяю – ну и что?

Всего лишь еще одна семья. Любовь? Кто сможет объяснить, что это такое, даже после стольких лет вместе. Почему она ушла, и почему она ушла так? Может, надеялась, что он хотя бы по ней заплачет?

НЕВЕСЕЛЫЕ МЫСЛИ

– Чего же ты ждешь? – повторяет она. – Ударь, ну. Может быть, тогда наконец ты поймешь.

– А ну-ка, вставай, песок влажный и уже почти ночь. Здесь тебе не итальянская Ривьера, простынешь, – я поднимаюсь сам и поднимаю ее. – Что я, по-твоему, должен понять?

– Что я твоя.

– Я и так знаю – моя. Для этого совсем необязательно вставать на колени, а тем более...

– Нет, что я твоя женщина. Все это время ты по привычке уговаривал себя и щадил меня – я ведь сказала, что не знаю когда. Сколько бы это ни продолжалось, ты никогда не сделаешь первый шаг. Ну вот, его сделала я. Я хочу не только знать, что я твоя женщина, а быть ею. Ударь меня, и я поцелую твою руку. Я хочу этого, папа, я готова, – она в самом деле берет мою руку, подносит к губам и целует – раз и еще раз, и еще.

И я не то, чтобы позволяю, но кто бы мог подумать, что у моего Зайца такие губы...

Словно со стороны, я слышу свой собственный голос:

– Зая, что случилось? Расскажи мне, это ведь не случайно, да? Именно сейчас? Я же вижу.

Она еще крепче сжимает мою руку и изо всех сил мотает головой:

– Нет, нет, нет! – и вдруг плачет. – Папочка, это было так страшно. И так... быстро. Вдруг – черный-черный дым, и уже ничего не осталось.

Тут у меня включается голова, и я начинаю сопоставлять события, факты и время. Во-первых, служебный мейл, во-вторых, утренние новости по радио, в-третьих, случайно услышанный разговор, в-четвертых, ее слова.

– Ты увидела, как он упал, да? Ах ты, – я обнимаю ее за плечи. – Как ты там оказалась, детка? Зачем?

– Случайно. Мы просто сидели в кафе, оно совсем рядом. Мы там почти каждый день завтракаем, и сегодня тоже, – она хлюпает носом. – Он был такой живой, улыбался нам, помаhal даже. А потом...

– А потом? Расскажи, и тебе станет легче. На самом деле.

– Потом он сел в самолет, самолет взлетел и начал кувыркаться в воздухе прямо над аэродромом, почти над нами. Падал и опять взлетал, каждый раз над самой землей. И вдруг почему-то не успел, или не смог, и сразу из-за деревьев черный дым, и...

– Я понимаю... Ничего не поделаешь, теперь ты знаешь, что смерть бывает и такой.

Она качает головой:

– Нет, не то. Жизнь и смерть, та грань, которая между ними, она такая... Как будто ее и нет вовсе. И выходит, что наша жизнь или не имеет никакой ценности вообще, если ее так легко разрушить, или, наоборот, именно поэтому бесконечно дорога.

– Так и есть. Сегодня ты это поняла.

– Я поняла, что каждая секунда может быть последней. Раньше я об этом знала тоже, но как-то... абстрактно, и вдруг увидела, как это бывает на самом деле. Как это может быть со мной, с тобой, с каждым. А мы продолжаем жить так, словно времени нет вообще. Оно проходит – мимо, мимо, мимо, и мы даже не пытаемся его остановить.

– Ты уже совсем взрослая. И рассуждаешь...

– Я не рассуждаю, в том-то и дело. Рассуждаешь ты. Все расставляешь по местам, всему даешь название и ужасно боишься совершить ошибку. Так боишься, что...

– Вот-вот, я и говорю: совсем взрослая. И ты права – я на самом деле боюсь, и не ужасно, а еще больше, ты даже представить не можешь, как я боюсь тебя потерять. Потому что знаю, что это очень даже может случиться, если...

Мы возвращаемся домой, держась за руки. Как дети, как влюбленные – как кто?

Я привычно думаю о том, что, хотим мы или нет, времени остается все меньше и меньше. Ничто не может продолжаться вечно, и то, что между нами, неизбежно закончится тоже. Вот только как? И что потом? Почему в жизни так много вопросов, на которые нет ответа?

В эти далеко невеселые мысли неожиданно вторгается Майкин голос, совершенно обычный, как ни в чем не бывало:

– Как ты думаешь, Агнешка вернется?

Я делаю паузу, просто чтобы переключиться. Пожимаю плечами.

– Может быть. Скорее всего да – если жива.

– Почему ты так думаешь?

– У нее нет ни другого дома, ни другого мужа, ни другой жизни. Какое-то время без этого можно прожить, но недолго. Долго или совсем – это значит все забыть, начать жизнь заново.

– Ну и что? Думаешь, она не сможет?

– Не думаю, знаю. Сердце ее здесь, и это Дюк, а без сердца долго не проживешь. Все ее здесь, вся жизнь.

– Тогда почему она ушла?

– Потому что жизнь – это и боль тоже, и иногда она становится нестерпимой. Другой причины я не вижу.

– Что же делать?

– Есть вопросы, на которые нет ответа, во всяком случае, у меня. И с этим тоже ничего не поделаешь.

Теперь замолкает она, только ее пальцы еще крепче, еще плотнее обхватывают мои, и, может быть, поэтому я знаю, о чем она спросит сейчас. И она спрашивает:

– А Наташа? Что с ней? Ведь у них с Дюком...

– У них с Дюком то, что у них с Дюком. Знать об этом не дано никому и понять тоже.

– А я-то думала, любовь.

– Как бы ты это ни назвала, им от этого не легче – ни ей, ни ему.

– Почему? Мне казалось, они счастливы, когда вместе.

– Они не просто счастливы, они счастливы безумно, а это уже не просто любовь, или совсем не любовь.

– А что же?

– У нас сегодня игра в вопросы и ответы? Не знаю что. Может быть, рок.

– Это судьба, что ли?

– Нет, скорее зависимость, замкнутость друг на друга. Лабиринт, из которого выхода нет.

– Значит, ни один из них не сможет уйти, хотя бы как Агнешка, да?

Мне остается только удивиться:

– Вон ты как? Пожалуй. Мне это просто не приходило в голову. А что значит – хотя бы?

– Не насовсем. Уйти, чтобы вернуться.

– Ты только что задавала вопросы, а теперь словно сама знаешь ответы.

Даже в темноте я вижу, как мой Заяц улыбается.

– Мне барашки нашептали, а они все знают. Вот только их по-прежнему трудно собрать, так и норовят разбежаться. Но иногда все-таки получается.

– А что еще они тебе нашептали? – усмехаюсь я. – Видишь, как здорово, что мы их когда-то придумали.

Она на ходу прижимается щекой к моему плечу:

– Это ты их придумал. И многое другое тоже. Почти все, даже меня. Придумал, оживил, а теперь боишься дотронуться. Думаешь, я не вижу? Ну, что ты молчишь? Ты почти все время молчишь, тебе от этого легче?

Я качаю головой.

– Нет, мне спокойнее, и прежде всего за тебя. Когда у тебя будут дети...

Майя останавливается и закрывает мне рот ладонью.

– Не смей так говорить, слышишь? Иначе я... Мне ничего не стоит тебя соблазнить, я могу это сделать прямо сейчас. Я же сказала тебе, что готова. Я жду не себя, а тебя. Эта умная голова должна наконец перестать сопротивляться сердцу. Оно-то давно знает, что выбора нет, потому что все твое вот здесь, – и она кладет мою руку себе на грудь. – Я женщина, папочка, и никто лучше меня самой не может знать, от кого у меня будут дети, от кого я их захочу. Даже ты.

Ее пальцы на моих губах неуловимо подрагивают, я чувствую их тепло и ток крови и вдруг делаю едва заметное движение губами навстречу. И она... она не убирает руку.

...Я открываю глаза и вижу ее – огромные, темные совсем близко. Она гладит меня по щеке и говорит:

– Папа. Папа Питер... Питер... Знаешь, сколько мы так уже стоим? У нас ведь есть дом, тот самый, который ты мне когда-то обещал, помнишь? И совсем недалеко от берега, и мы уже совсем рядом. Идем. Я так люблю в него возвращаться, а когда вместе с тобой...

Она ведет меня как маленького, и мне ужасно хочется слушаться – ее рук, ее слов, запаха ее кожи. И себя, наконец. Себя больше всего. Неужели это в самом деле моя дочь, мое собственное чудо в пижамке с барашками? Или все же, все же, все же...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.